

М. Булгаков

**Окончание романа "Белая
гвардия"**

Ранняя редакция

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Б90

Булгаков М.А.
Б90 Окончание романа "Белая гвардия": Ранняя редакция / М. Булгаков – М.: Книга по Требованию, 2024. – 50 с.

ISBN 978-5-458-04014-3

Трудно назвать еще одного русского писателя, творчество которого было бы в такой же степени автобиографично, как у Михаила Булгакова - писателя сложной и горькой судьбы, пережившего потерю милой его сердцу прежней России, преодолевшего страшный недуг морфинизма, художника, противостоявшего революционной бесовщине и до конца дней вовлеченного в трагический конфликт с деспотическим строем. Булгаков - блестящий сатирик, чьими любимыми авторами с юных лет были Гоголь и Салтыков-Щедрин, драматург, познавший и громкую славу, и горечь несправедливых обвинений... Едва ли не на все его творчество распространяется формула Е.Замятина "фантастика, корнями вырастающая в быт". Мастер постановки нравственных проблем, заостренных до вселенского масштаба, Булгаков с самого начала поставил своей задачей писать увлекательно - чтобы было не только интересно читать, но и тянуло перечитывать...

ISBN 978-5-458-04014-3

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024
© М.А. Булгаков, 2024

Михаил Афанасьевич
Булгаков
ОКОНЧАНИЕ
РОМАНА «БЕЛАЯ
ГВАРДИЯ»
Ранняя редакция

— Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя, — научила Елена, наклоняясь.

— Драсту, дядя, — недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мышлаевскому.

— Здравствуй, — мрачно ответил ему Мышлаевский, потом покосился вниз и добавил: — Судя по твоей физиономии, ты большой шалун.

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, засопел, губы выпятил кувшинчиком, нахмурился.

— Ну балбес, ну балбес длинный, чего ребенка дразнишь?

— Чиво дразнишь, — выговорил и Петька неприязненно.

Шервинский, Карась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой штанине.

— Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие, — говорила Елена, извлекая Петьку из складок, — гляди на елку, смотри, какие огоньки.

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед.

— Дать ему апельсин, — растрогался Мышлаевский, — дать.

— Потом апельсин, — распорядилась Елена, — а теперь танцевать давайте. Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно.

Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо остриженная во время тифа, чуть-чуть начала обрастать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку. Блестящие глаза его еще больше заблестели от елочных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже в смокинге. И главное, добытом неизвестно где; всем отлично было известно, что в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосиковой шее сидел отложной крахмальным воротник с лентой черной бабочкой, и из рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с хлыстом. Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смокинг, узнав, что это дело принципиальное. Петлюра — каналья. Пусть хоть десять Петлюр будет в городе, а здесь, в стенах Анны Владимировны, он не властен. Пусть стены еще пахнут формалином, пусть

из-за этого чертова формалина провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая, и последняя, сегодня — в крещенский сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал вчера, желтый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно. Это даже Янчевский сказал, а он, все видевший на своем веку, знает, что сверхъестественного не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно.

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в чем дело. И не нов, и пластрон не первоклассный, а между тем все как-то к месту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например, Лариосику трудно как-то в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать к смокингу, и все время кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается свободно, размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его хоть в кинематографе снимай. И портит его только одно. Не свойственная Мышлаевскому дума, довольно тревожная. Она улегла в трех складках на патрицианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживится Мышлаевский, то вдруг нахмурится и задумается. В чем дело — неизвестно. Во всяком случае, когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись китайской тушью:

Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещенский сочельник 1919 года. Он хороший семьянин, —

Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, пожевал губами.

— Ты что-то много последнее время острить стал.

Николка густо раскраснелся.

— Если, Витенька, тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся?

— Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. Что-то больно весел. Манжетки выставил... на жениха похож.

Николка расцвел малиновым огнем, и глаза его утонули в озере смущения.

— На Мало-Провальную слишком часто ходишь, — продолжал Мышлаевский добивать противника шестидюймовыми снарядами, — это, впрочем, хорошо. Рыцарем нужно быть, поддерживай турбинские традиции.

— Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь, — забормотал Николка, — на какую такую Провальную?..

— Вот такую самую... Иди встречай.

Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Николки. В гостинной оборвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под

пальцами Елены.

— Очень рада. Очень. Позвольте же вас познакомить. Все бело-гвардейцы.

— У вас так нагадно, я не знала. Пгамо смутишься...

— Что вы. Не обращайтесь внимания. Только свои. Смокинги — это они принципиально. По поводу Петлюры.

— Социальной революции, — вставил Мышлаевский.

Ирина Най, вся в черном и траурном, худая, блекла рядом с пышной Еленой, отливающей золотом, и в елочных огнях казалась креповой свечой. Николка без толку мыкался где-то сзади представляющихся. Ему казалось, что руки и ноги у него привинчены неудобно и неудачно и некуда их пристроить. Воротничок резал шею. Он был в студенческом, еще на Карасе не было смокинга, а визитка и полосатые брюки, благодаря которым плотный Карась был похож на удачливого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шервинский один мог затмить всех в смокингах. Шервинский во фраке. Но зато уже фрак. Будьте благонадежны. Во-первых, правая сторона пластрона у него гофрирована, с вашего разрешения, как бумажная оборка на окороке, в полулунии жилета вставлено что-то сверкающее шелковыми красками, похожее на звездный флаг величественных Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая — карат. Значит, 1/2 карата. Брюки заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные чулки. И, наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой. Демона будет петь. Re...la...fa...ge! Экм... Чем он хорош... Че-е-е-ем.

— Голос действительно поразительный.

— Как же, я слышала. Мне говогили пго вас. Это вы пели на гетманском вечеге в купеческом.

— Он самый.

— Пожалуйста, спойте. Очень пгошу. Демона.

— Де-мо-на. (Изображение галерки Николкой. Весьма сходно.)

— Говогят, что у вас гоос, как у Баттистини.

— И даже немного хуже.

— Не плачь, дитя... (С галерки.)

— Он не гордый. Споеет.

— Ирина Феликсовна, близко не садитесь¹. Абсолютно невозможно слушать.

— Его лучше слушать из другой комнаты.

— А еще лучше с другой улицы.

Черными нотными значками, густыми, встал Демон над стогоубой

клавиатурой и вытеснил Валентина в сторону под розовый абажур. Все равно Валентина скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не воцарился, и перешиб его Василиса. На Василисе, конечно, никаких смокингов. И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли на ногах Немоляки в неизвестную тьму.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя рантом, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, — подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные²».

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. И елочка. Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик в двери, и вот оно. Счел своим долгом. Честь имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался³.

Елена ушла с письмом в спальню⁴.

«Письмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уж знаешь, что там такое⁵. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо Дойдет, найдет адресата. Waг... Варшава. Варшава. Но почерк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк, и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света.

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумовы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж

вместе с семьей Герц: говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей стало стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные⁶.

— С каким бы удовольствием... — процедил он сквозь зубы, — я б по морде съездил...

— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скопьялись слезы.

— Самому себе, — ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, — за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал Турбин, — убери ты к чертовой матери вот эту штуку. — Он рукоятью ткнул в портрет на столе.

Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабьи заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну что ж... не сердись... не сердись, Матерь Божия», — подумала суеверная Елена. Турбин испугался:

— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слышали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый Орел»⁷.

Елена, напудренная, с подмазанными, поблекшими глазами, вышла в гостиную. Все двинулись к ней. Шервинский выпихнул на середину Петьку Щеглова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и неизвестными веселыми людьми, готовый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, как будто ему все равно:

- Папа мажет...
 - Йодом... (*Шепот суфлера.*)
 - Йодом бок, мама пляшет кек-вок.
 - Господа!!
-

Ходить можно только до двенадцати часов ночи. Почему — неизвестно. Но до двенадцати. Поэтому ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най и стала прощаться. Огни на елке догорели, разогретая хвоя источала лесной дух, на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсинными корками.

— Приходите, приходите к нам еще, — говорила Елена, — мы все так рады были познакомиться с вами.

— Сейчас мы вас проводим, будьте спокойны, — говорил Мышлаевский, улыбаясь Ирине и косясь на Николку, — кто-нибудь проводит. Я или Федор Николаевич...

Николка побледнел и засопел. «Какая свинья... — подумал он слезливо, — чего он на меня взелся и портит мне жизнь».

— Или, может быть, Никол Васильевич? — сжалился Мышлаевский. — Никол, ты можешь?.. Или ты будешь хозяйничать?

— Нет, я могу, конечно. Я... — не своим голосом ответил Николка и тотчас же надел фуражку.

— Да, я могу... сию минуту... — встрял Лариосик, хотя его никто и не просил, и тотчас начал щурить глаза, разыскивая свою шапку.

«Вот несчастье, Господи... вот несчастье», — подумал Николка и торопливо, оборвав вешалку на шинели, полез в рукава.

— Нет, Ларион, уж Никол проводит, он оделся, — отозвался с колен Мышлаевский, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най, — ты, пожалуйста, останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес.

— Я? Ага?.. Да... — в высшей степени изумленно отозвался Лариосик, ни разу в жизни не разводивший спирта.

— Господа, напгасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нисколько не боюсь.

— Нет уж, это нельзя, — скрепил Мышлаевский, — так мы вас отпустить не можем. А с Николом вы будете как за каменной стеной.

Был ясный, сильный мороз, пустынная улица. Как только они вышли и дверь прогремела сложными запорами под руками Лариосика, глаза Ирины Най провалились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску. Ирина зябко передернула плечами и уткнула подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучаясь страшным и непреодолимым: как предложить ей руку. И никак не мог. На язык как будто повесили гирю фунта в два. «Идти так нельзя. Невозможно. А как сказать?.. Позвольте вам... Нет, она, может быть, что-нибудь подумает. И может быть, ей неприятно идти со мной под руку?.. Эх!..»

— Какой мороз, — сказал Николка.

Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в стороне на скате купола луна над потухшей семинарией на далеких горах, ответила:

— Очень. Я боюсь, что вы замегзнете.

«На тебе. На, — подумал тяжело Николка, — не только не может быть и речи о том, чтобы взять ее под руку, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. Иначе никак нельзя истолковать такой намек...»

Ирина тут же поскользнулась, крикнула «ай» и ухватилась за рукав шинели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропустил. Ведь уж дураком нужно быть. Он сказал:

— Позвольте вас под руку...

— А где ваши пегчатки?.. Вы замегзнете... Не хочу.

Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: «Приду и тотчас же застрелюсь. Кончено. Позор».

— Я забыл перчатки под зеркалом...

Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих глазах не только чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полковнику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой рукой его правую руку, продернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых двенадцать минут до самой Мало-Провальной:

— Нужно быть половчей...

«Царевна... На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадежно. Я неловок. И университета еще даже не начинал... Красавица...» — думал Никол. И никакой красавицей Ирина Най вовсе не была.

Обыкновенная миловидная девушка с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы блестящие, черные.

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада, у темной двери остановились. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами, то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме одного, светящегося уютным огнем. Ирина прислонилась к черной двери, откинула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчаянии, что он, «о, глупый», за двадцать минут ничего ровно не сумел ей сказать, в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент, как раз когда какие-то важные слова складываются у него в никуда не годной голове, осмелел до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, теперь оказывается без перчатки. Кругом была совершенная тишина. Город спал.

— Идите, — сказала Ирина Най очень негромко, — идите, а то вас петлюговцы агестуют.

— Ну и пусть, — искренне ответил Николка, — пусть.

— Нет, не пусть. Не пусть. — Она помолчала. — Мне будет жалко...

— Жал-ко?.. А?.. — И он сжал руку в муфте сильней.

Тогда Ирина высвободила руку вместе с муфтой, так с муфтой и положила ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы, как показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с орлами к бархату шубки, вздохнула и поцеловала его в самые губы.

— Может быть, вы хгабгый, но такой неповогоотливый...

Тут Николка, чувствуя, что он стал безумно храбрым, отчаянным и очень поворотливым, охватил Най и поцеловал в губы. Ирина Най коварно закинула правую руку назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги и кашель матери послышались во флигеле, и дрогнула дверь... Николкины руки разжались.

— Завтга пгиходите, — зашептала Най, — вечегом. А сейчас уходите, уходите...

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не по тротуару, а по мостовой посредине, близ рельсов трамвая. Он шел как пьяный, расстегнув шинель, заломив фуражку, чувствуя, что мороз так и щиплет уши. В голове и на языке гудела веселая фриска из рапсодии, а ноги шли сами. Город был бел, ослеплен луной, и тьма-тьмущая звезд красовалась над головой. Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет считать их, знать